

Антон Павлович Чехов

# Верочка



АНТОН ЧЕХОВ

**Верочка**

«Public Domain»

## **Чехов А. П.**

Верочка / А. П. Чехов — «Public Domain»,

«Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу. На нем была тогда легкая крылатка и широкополая соломенная шляпа, та самая, которая вместе с ботфортами валяется теперь в пыли под кроватью. В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой – толстую, суковатую палку...»

# Содержание

## АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

### Верочка

Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу. На нем была тогда легкая крылатка и широкополая соломенная шляпа, та самая, которая вместе с ботфортами валяется теперь в пыли под кроватью. В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой – толстую, суковатую палку.

За дверью, освещая ему путь лампой, стоял хозяин дома, Кузнецов, лысый старик с длинной седой бородой и в белом, как снег, пикейном пиджаке. Старик благодушно улыбался и кивал головой.

– Прощайте, старче! – крикнул ему Огнев.

Кузнецов поставил лампу на столик и вышел на террасу. Две длинные, узкие тени шагнули через ступени к цветочным клумбам, закачались и уперлись головами в стволы лип.

– Прощайте, и еще раз спасибо, голубчик! – сказал Иван Алексеич. – Спасибо вам за ваше радушие, за ваши ласки, за вашу любовь... Никогда, во веки веков не забуду вашего гостеприимства. И вы хороший, и дочка ваша хорошая, и все у вас тут добрые, веселые, радушные... Такая великолепная публика, что и сказать не умею!

От избытка чувств и под влиянием только что выпитой наливки, Огнев говорил певучим семинарским голосом и был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганьем глаз и подергиваньем плеч. Кузнецов, тоже подвыпивший и растроганный, потянулся к молодому человеку и поцеловался с ним.

– Привык я к вам, как легавый! – продолжал Огнев. – Почти каждый день к вам шлялся, раз десять ночевал, а наливки выпил столько, что теперь вспоминать страшно. А главное, за что спасибо, Гавриил Петрович, так это за ваше содействие и помощь. Без вас я со своей статистикой до октября бы тут возился. Так и напишу в предисловии: считаю долгом выразить мою благодарность председателю М-ской уездной земской управы Кузнецову за его любезное содействие. У статистики бле-есящая будущность! Вере Гавриловне нижайший поклон, а докторам, обоим следователям и вашему секретарю передайте, что никогда не забуду их помощи! А теперь, старче, обьемем друг друга и сотворим последнее лобзание.

Раскисший Огнев еще раз поцеловался со стариком и стал спускаться вниз, на последней ступени он оглянулся и спросил:

– Увидимся еще когда-нибудь?

– Бог знает! – ответил старик. – Вероятно, никогда!

– Да, правда! В Питер вас и калачом не заманишь, а я едва ли еще попаду когда-нибудь в этот уезд. Ну, прощайте!

– Вы бы книги тут оставили! – крикнул ему вслед Кузнецов. – Что вам за охота тащить такую тяжесть? Я вам завтра их с человеком прислал бы.

Но Огнев уже не слушал и быстро удалялся от дома. На душе его, подогретой вином, было и весело, и тепло, и грустно... Он шел и думал о том, как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми и как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно-восторженный крик, а через минуту, с какою жадностью ни вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука – так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти. Живя с самой весны в Н-ском уезде и бывая почти каждый день у радушных Кузнецовых, Иван Алексеич привык, как к родным, к старику, к его дочери, к прислуге, изучил до тонкостей весь дом, уютную террасу, изгибы аллей, силуэты деревьев над кухней и баней; но выйдет он сейчас за калитку, и всё это обратится в воспоминание и утратит для него навсегда

свое реальное значение, а пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами и плодами фантазии.

«В жизни ничего нет дороже людей! – думал растроганный Огнев, шагая по аллее к калитке. – Ничего!»

В саду было тихо и тепло. Пахло резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели отцвести на клумбах. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, негустого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом, и, что надолго осталось в памяти Огнева, клочья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней, а Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер чуть ли не первый раз в жизни, думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад белым бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили в воздух и белого дыма.

Когда Огнев подходил к садовой калитке, от невысокого палисадника отделилась темная тень и пошла к нему навстречу.

– Вера Гавриловна! – обрадовался он. – Вы тут? А я искал-искал, хотел проститься... Прощайте, я ухожу!

– Так рано? Ведь еще одиннадцать часов.

– Нет, пора! Идти пять верст, да еще укладываться нужно. Завтра рано вставать...

Перед Огневым стояла дочь Кузнецова, Вера, девушка 21 года, по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечтают и по целым дням читают лежа и лениво всё, что попадается им под руки, которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно. Тем из них, которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта легкая небрежность в одежде придает особую прелесть. По крайней мере, Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не касалась стана, без локона, выбившегося на лоб из высокой прически, без того красного вязаного платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло виснул на плече Верочки, а днем валялся скомканный в передней около мужских шапок или же в столовой на сундуке, где бесцеремонно спала на нем старая кошка. От этого платка и от складок кофточки так и веяло свободною ленью, домоседством, благодушием. Быть может, оттого, что Вера нравилась Огневу, он в каждой пуговке и оборочке умел читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных.

Верочка была хорошо сложена, имела правильный профиль и красивые вьющиеся волосы. Огневу, который на своем веку мало видел женщин, она казалась красавицей.

– Уезжаю! – говорил он, прощаясь с нею около калитки. – Не поминайте лихом! Спасибо за всё!

Тем же певучим семинарским голосом, каким он беседовал со стариком, так же моргая и подергивая плечами, стал он благодарить Веру за гостеприимство, ласки и радушие.

– О вас писал я матери в каждом письме, – говорил он. – Если бы все такие были, как вы да ваш батя, то не житье было бы на свете, а масляная. У вас вся публика великолепная! Народ всё простой, сердечный, искренний.

– Вы теперь куда едете? – спросила Вера.

– Теперь еду к матери в Орел, побуду у нее недельки две, а там – в Питер на работу.

– А потом?

– Потом? Всю зиму проработаю, а весной опять куда-нибудь в уезд материалы собирать.

Ну, будьте счастливы, живите сто лет... не поминайте лихом. Больше не увидимся.

Огнев нагнулся и поцеловал Верочкину руку. Затем в молчаливом волнении он поправил на себе крылатку, взял поудобнее вязку книг, помолчал и сказал:

- Туману-то сколько навалило!
- Да. Вы у нас ничего не забыли?
- Что же? Кажется, ничего...

Несколько секунд Огнев постоял молча, потом неуклюже повернулся к калитке и вышел из сада.

- Постойте, я вас до нашего леса провожу, – сказала Вера, выходя за ним.

Они пошли по дороге. Теперь уж деревья не заслоняли простора и можно было видеть небо и даль. Точно прикрытая вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую весело смотрела ее красота; туман, что погуще и побелее, неравномерно ложился около копен и кустов или клочьями бродил через дорогу, жался к земле и как будто старался не заслонять собой простора. Сквозь дымку видна была вся дорога до леса с темными канавами по бокам и с мелкими кустами, которые росли в канавах и мешали бродить туманным клочьям. В полуверсте от калитки темнела полоса кузнецовского леса.

«Зачем она со мной пошла? Ведь ее придется провожать назад!» – подумал Огнев, но, поглядев на профиль Веры, он ласково улыбнулся и сказал:

– Не хочется уезжать в такую хорошую погоду! Вечер настоящий романический, с луной, с тишиной и со всеми онерами. Знаете что, Вера Гавриловна? Живу я на свете 29 лет, но у меня в жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романической истории, так что с рандеву,<sup>1</sup> с аллеями вздохов и поцелуями я знаком только понаслышке. Ненормально! В городе, когда сидишь у себя в номере, не замечаешь этого пробела, но тут, на свежем воздухе, он сильно чувствуется... Как-то обидно делается!

- Отчего же вы так?

– Не знаю. Вероятно, всю жизнь некогда было, а может быть, просто встречаться не приходилось с такими женщинами, которые... Вообще у меня мало знакомых, и я нигде не бываю.

Шагов триста молодые люди прошли молча. Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верочки, и в душе его один за другим воскресали весенние и летние дни; то было время, когда вдали от своего серого петербургского номера, наслаждаясь ласками хороших людей, природой и любимым трудом, не успевал он замечать, как утренние зори сменялись вечерними и как один за другим, пророча конец лета, переставали петь сначала соловей, потом перепел, а немного позже коростель... Время летело незаметно, значит, жилось хорошо и легко... Стал он припоминать вслух о том, с какою неохотой он, небогатый, непривычный к движениям и людям, в конце апреля ехал сюда в N-ский уезд, где ожидал встретить скуку, одиночество и равнодушие к статистике, которая, по его мнению, среди наук занимает теперь самое видное место. Приехав апрельским утром в уездный городишко N., он остановился на постоялом дворе старовера Рябухина, где за двугривенный в сутки ему дали светлую и чистую комнату с условием, что курить он будет на улице. Отдохнув и справившись, кто в уезде состоит председателем земской управы, он немедленно пошел пешком к Гавриилу Петровичу. Пришлось идти четыре версты роскошными лугами и молодыми рощами. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над зеленеющими пашнями, солидно и чинно взмахивая крыльями, носились грачи.

– Господи, – удивлялся тогда Огнев, – неужели тут всегда дышат таким воздухом, или это так пахнет только сегодня, ради моего приезда?

Ожидая сухого делового приема, к Кузнецовым вошел он несмело, глядя исподлобья и застенчиво теребя свою бородку. Старик сначала морщил лоб и не понимал, зачем это молодому человеку и его статистике могла понадобиться земская управа, но когда тот пространно

---

<sup>1</sup> свиданием (франц. rendez-vous)

объяснил ему, что такое статистический материал и где он собирается, Гавриил Петрович ожил, заулыбался и с ребяческим любопытством стал заглядывать в его тетрадки... Вечером того же дня Иван Алексеич уже сидел у Кузнецовых за ужином, быстро хмелел от крепкой наливки и, глядя на покойные лица и ленивые движения своих новых знакомых, чувствовал во всем своем теле сладкую, дремотную лень, когда хочется спать, потягиваться, улыбаться. А новые знакомые благодушно оглядывали его и спрашивали, живы ли у него отец и мать, сколько он зарабатывает в месяц, часто ли бывает в театрах...

Припомнил Огнев свои разъезды по волостям, пикники, рыбные ловли, поездку всем обществом в девичий монастырь к игуменье Марфе, которая каждому из гостей подарила по бисерному кошельку, припомнил горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа и стуча кулаками по столу, не понимают и перебивают друг друга, сами того не замечая, противоречат себе в каждой фразе, то и дело меняют тему и, поспорив часа два-три, смеются:

– Чёрт знает, из-за чего мы спор подняли! Начали о здравии, а кончили за упокой!

– А помните, как я, вы и доктор ездили верхом в Шестово? – говорил Иван Алексеич Вере, подходя с нею к лесу. – Тогда еще нам юродивый встретился. Я дал ему пятак, а он три раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь. Господи, столько я увожу с собой впечатлений, что если бы можно было собрать их в компактную массу, то получился бы хороший слиток золота! Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в столицах и не идут сюда? Разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь? Право, мне мои меблированные комнаты, сверху донизу начиненные художниками, учеными и журналистами, всегда казались предрассудком.

В двадцати шагах от леса через дорогу лежал небольшой узкий мостик со столбиками по углам, который всегда во время вечерних прогулок служил Кузнецовым и их гостям маленькой станцией. Отсюда желающие могли дразнить лесное эхо и видно было, как дорога исчезала в черной просеке.

– Ну, вот и мостик! – сказал Огнев. – Тут вам поворачивать назад...

Вера остановилась и перевела дух.

– Давайте посидим, – сказала она, садясь на один из столбиков. – Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся.

Огнев примостился возле нее на своей вязке книг и продолжал говорить. Она тяжело дышала от ходьбы и глядела не на Ивана Алексеича, а куда-то в сторону, так что ему не видно было ее лица.

– И вдруг лет через десять мы встретимся, – говорил он. – Какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенною матерью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника, толстого, как сорок тысяч сборников. Встретимся и вспомним старину... Теперь мы чувствуем настоящее, оно нас наполняет и волнует, а тогда, при встрече, мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь... Послушайте, вы изменитесь?

Вера вздрогнула и повернулась к нему лицом.

– Что? – спросила она.

– Я вас спрашивал сейчас...

– Простите, я не слышала, что вы говорили.

Тут только Огнев заметил в Вере перемену. Она была бледна, задыхалась, и дрожь ее дыхания сообщалась и рукам, и губам, и голове, и из прически выбивался на лоб не один локон, как всегда, а два... Видимо, она избегала глядеть прямо в глаза и, стараясь замаскировать волнение, то поправляла воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другое...

– Вам, кажется, холодно, – сказал Огнев. – Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас нах гауз.<sup>2</sup>

Вера молчала.

– Что с вами? – улыбнулся Иван Алексеич. – Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь? А?

Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огнева, и тотчас же резко отдернула ее.

– Ужасное положение... – прошептала она с выражением сильной боли на лице. – Ужасное!

– Чем же оно ужасное? – спросил Огнев, пожимая плечами и не скрывая своего удивления. – В чем дело?

Всё еще тяжело дыша и вздрагивая плечами. Вера повернулась к нему спиной, полминуты глядела на небо и сказала:

– Мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеич...

– Я слушаю.

– Вам, может быть, покажется странным... вы удивитесь, но мне всё равно...

Огнев еще раз пожал плечами и приготовился слушать.

– Вот что... – начала Верочка, наклоня голову и теребя пальцами шарик платка. – Видите ли, я вам вот что... хотела сказать... Вам покажется странным и... глупым, а я... я больше не могу.

Речь Веры перешла в неясное бормотанье и вдруг оборвалась плачем. Девушка закрыла лицо платком, еще ниже нагнулась и горько заплакала. Иван Алексеич смущенно крикнул и, изумляясь, не зная, что говорить и делать, безнадежно поглядел вокруг себя. От непривычки к плачу и слезам у него у самого зачесались глаза.

– Ну, вот еще! – забормотал он растерянно. – Вера Гавриловна, ну к чему это, спрашивается? Голубушка, вы... вы больны? Или вас кто обидел? Вы скажите, быть может, я того... сумею помочь...

Когда он, пытаясь утешить ее, позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась ему сквозь слезы и проговорила:

– Я... я люблю вас!

Эти слова, простые и обыкновенные, были сказаны простым человеческим языком, но Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры, поднялся и вслед за смущением почувствовал испуг.

Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянные на него прощанием и наливкой, вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа, он косился на Веру, и теперь она, после того как, объяснившись ему в любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже ростом, проще, темнее.

«Что же это такое? – ужаснулся он про себя. – Но ведь я же ее... люблю или нет? Вот задача-то!»

А она, когда самое главное и тяжелое наконец было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо в лицо Ивана Алексеича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо.

Как человек, внезапно испуганный, не может потом вспомнить порядка, с каким чередовались звуки ошеломившей его катастрофы, так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памяты только содержание ее речи, она сама и то ощущение, которое производила в нем ее речь. Он помнит как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необычно-

---

<sup>2</sup> домой (нем. nach Hause).

венную музыку и страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкая слезинками на ресницах, она говорила ему, что с первых же дней знакомства он поразил ее своею оригинальностью, умом, добрыми, умными глазами, своими задачами и целями жизни, что она полюбила его страстно, безумно и глубоко; что когда, бывало, летом она входила из сада в дом и видела в передней его крылатку или слышала издали его голос, то сердце ее обливалось холодком, предчувствием счастья; его даже пустые шутки заставляли ее хохотать, в каждой цифре его тетрадок она видела что-то необыкновенно разумное и грандиозное, его суковатая палка представлялась ей прекрасней деревьев.

И лес, и туманные ключья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее, а в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное... Объясняясь в любви, Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум, или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдание Веры казались ему приторными, несерьезными, и в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что всё, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяких статистик, книг, истин... И он злился и винил себя, хотя и не понимал, в чем именно заключается вина его.

В довершение неловкости он решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо «я вас не люблю» ему было не под силу, а сказать «да» он не мог, потому что, как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки...

Он молчал, а она между тем говорила, что для нее нет выше счастья, как видеть его, идти за ним, хоть сейчас, куда он хочет, быть его женой и помощницей, что если он уйдет от нее, то она умрет с тоски...

– Я не могу здесь оставаться! – сказала она, ломая руки. – Мне опостытели и дом, и этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя и бесцельной жизни, не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи один на другого, как капли воды! Все они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдают, не борются... А я хочу именно в большие, сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой...

И это казалось Огневу приторным и несерьезным. Когда Вера кончила, он всё еще не знал, что говорить, но молчать нельзя было, и он забормотал:

– Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, хотя чувствую, что ничем не заслужил такого... с вашей стороны... чувства. Во-вторых, как честный человек, я должен сказать, что... счастье основано на равновесии, то есть когда обе стороны... одинаково любят...

Но тотчас же Огнев устыдился своего бормотания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто... Вера, должно быть, сумела прочесть на его лице правду, потому что стала вдруг серьезной, побледнела и поникла головой.

– Вы извините меня, – пробормотал Огнев, не вынося молчания. – Я вас настолько уважаю, что... мне больно!

Вера резко повернулась и быстро пошла назад к усадьбе. Огнев последовал за ней.

– Нет, не надо! – сказала Вера, махнув ему кистью руки. – Не идите, я сама дойду...

– Нет, все-таки... нельзя не проводить...

Что ни говорил Огнев, всё до последнего слова казалось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки и проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки, припоминал ее слова и слезы, но всё это только умиляло, но не раздражало его души.

«Ах, да нельзя же насильно полюбить! – убеждал он себя и в то же время думал: – Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30! Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу... О, собачья старость! Старость в 30 лет!»

Вера шла впереди него всё быстрее и быстрее, не оглядываясь и поникнув головой. Ему казалось, что с горя она осунулась, сузилась в плечах...

«Воображаю, что творится теперь у нее на душе! – думал он, глядя ей в спину. – Небось, и стыдно, и больно до того, что умирать хочется! Господи, столько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я... я глуп и нелеп!»

У калитки Вера мельком взглянула на него и, согнувшись, кутаясь в платок, быстро пошла по аллее.

Иван Алексеич остался один. Возвращаясь назад к лесу, он шел медленно, то и дело останавливался и оглядывался на калитку с таким выражением во всей своей фигуре, как будто не верил себе. Он искал глазами по дороге следов Верочкиных ног и не верил, что девушка, которая так нравилась ему, только что объяснилась ему в любви и что он так неуклюже и топорно «отказал» ей! Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самом положение порядочного и сердечного человека, против воли причиняющего своему ближнему жестокие, незаслуженные страдания.

У него болела совесть, а когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся.

Дойдя до мостика, он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренно сознался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которою так часто хвастают умные люди, не холодность себялюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни.

С мостика он медленно, словно нехотя, пошел в лес. Здесь, где на черных, густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное.

И помнит Иван Алексеич, что он опять вернулся. Подзадоривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в своем воображении Веру, он быстро шагнул к саду. По дороге и в саду тумана уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая, только лишь восток туманился и хмурился... Помнит Огнев свои осторожные шаги, темные окна, густой запах гелиотропа и резеды. Знакомый Каро, дружелюбно помахивая хвостом, подошел к нему и понюхал его руку... Это было единственное живое существо, видевшее, как он два раза прошелся вокруг дома, постоял у темного окна Веры и, махнув рукой, с глубоким вздохом пошел из сада.

Через час уже он был в городке и, утомленный, разбитый, прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоянного двора, стучал скобкой. Где-то в городке спросонок лаяла собака, и точно в ответ на его стук около церкви зазвонили в чугунную доску...

– Шляешься по ночам... – ворчал хозяин-старовер в длинной, словно женской сорочке, отворяя ему ворота. – Чем шляться-то, лучше бы богу молился.

Войдя к себе в комнату, Иван Алексеич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь, потом встряхнул головой и стал укладываться...